

ISSN 0206-8680



сценарии
КИНО №1

Сергей ВОЛЧЕНКО

СОКУРОВ И КТО-ТО ДРУГОЙ...

В комнате, заваленной какими-то странными вещами, я, Сокуров, и еще какие-то люди, по всей видимости, его ученики и еще один, который выделяется чем-то — он не ученик, а кто-то другой — очевидно, шофер... шофер киногруппы, и он, этот человек, держит в руках какой-то предмет, камень, в который вкраплены несколько крупных алмазов и полированная из красного камня трубка.

— Что это такое? — спрашивает человек.
— Кто знает?

Я рад (про себя), что знаю: этот камень имеет ко мне прямое отношение, я его видел много раз у своего соседа и сосед говорил мне, что это алмазы.

— Это алмазы, — говорю я уверенно, видя, как они выступают из серой массы камня, видя их мутную белизну и в ней жесткие колкие искорки, и радуюсь тому, что я первый наверняка верно ответил. Камень переходит из рук в руки: «Слюда» — говорит кто-то, «Стекло», «Кварц», и вот камень попадает в руки Сокурова.

— Это визуальная трубка, — вдруг сообщает он. — Она блестяще приспособлена, чтобы через нее видеть, воспринимая реальность одним глазом в границах круга, тогда как второй глаз, оставаясь открытым, видит то же, но в размытых, неуловимых границах. Тем самым одна реальность вдруг противопоставляется себе и внутри себя за счет того, как мы ее видим...

Шофер хохочет:

— Ты так говоришь, даже не представляя, что это твой камень! Как будто ты его впервые увидел! Впрочем, ты его действительно впервые увидел. Его ж послали тебе давным-давно, а твоя жена, получив его и ничего тебе о нем не сказав, — продала. Я его купил в коммерческом. Так говоришь, а ведь он твой, и надпись даже тебе, читай: «Замечательному режиссеру от почитателей его таланта». Свою жену не можешь срежиссировать — режиссер, хе-хе. Это предательство твоей жены — вот что это такое!

Сокуров молчит.

Другие продолжают спорить — алмазы это

или обычный кварц.

Сокуров молчит. Вид у него замкнутый, и в этой замкнутости зреет какая-то упругость, какое-то решение... Он не смотрит на шофера, и вот-вот должен что-то сказать, и перед самым этим моментом вдруг становится ясно, что он очень обижен.

— Я вас прошу уйти, — говорит он тихим голосом, — хотя я не женат, но это не имеет значения, потому что в вашей провокации была поразительная правда вашего желания уязвить и обидеть меня. Я не знаю точно, шофер вы или кто-то другой, но в любом случае вы не должны забывать своего места — ваша задача только возить нас и помалкивать...

Шоферу явно все равно, оставаться с Сокуровым или уйти, и поэтому он сразу уходит (или исчезает). И вместе с ним вдруг исчезают все ученики. Я это заметил не сразу, а уже тогда, когда, пройдя из светлой, но чрезвычайно заваленной какими-то бумагами и старинными вещами комнаты в другую, темную и маленькую, вдруг ощутил себя сидящим на табурете; вокруг полумрак, серые, в рваных обоях стены и Сокуров, который почему-то в старинном халате и со скрипкой в руках чего-то ждет... Очевидно, того времени, когда он даст мне урок игры на скрипке. Но ведь я не ученик, и мне этого не нужно. Но как раз поэтому и непонятно, чего же он ждет. Вид у него очень грустный и одинокий — он, кажется, уже давно смирился с тем, что ему приходится быть жестким, тогда как это все равно никого и ничего не изменит и, значит, жесткость эта направлена только ради себя, так же, как и у всех. Но ведь он одинок, и невозможно чувствовать ему, что он хоть что-то делает ради себя, так же, как все. И вот грусть и смирение, что кто-то вновь вынудил его к этому, кто-то...

Я вздрогнул... Это был сильный звонок в дверь. Звонок! Кто-то стоит и звонит снаружи...

Сокуров все так же стоит в своем старинном халате, наклонив голову. Очевидно, он как раз звонка-то и ждал.

Нужно открыть... Но Сокуров молчит... Очевидно, я должен открыть... Но мне почему-то

неловко. И вдруг понимаю, что в комнате, кроме нас, есть кто-то еще... Какой-то человек стоит за моей спиной.

— Иди, открой, — говорю я ему уверенно, — звонят же! — И вдруг чувствую: ну вот, вот и я тоже сделал что-то не то! И смотрю на Сокурова.

Но Сокуров как будто понял, что это бестактность, еще раньше, чем я допустил ее, ибо опять никак не изменился в лице и, стало быть, ее-то как раз и ждал. А я только сейчас понимаю: распоряжаюсь, как у себя дома, а ведь Сокуров явно не хочет открывать дверь. Ведь это только шофер мог вернуться, больше никому... хотя, может, он и не шофер вовсе, а кто-то другой... но это не имеет значения, главное, что Сокуров не хочет впускать его обратно...

— Ну иди, открой, — говорит он все с той же грустью.

И опять через большую, с высоченным потолком комнату, кругом неизвестные, неподдающиеся никакому описанию предметы, что, впрочем, не мешает мне смело и уверенно перешагивать через них, а в передней вижу огромный, почти до потолка, из чистого золота шар с дверью — это выход на лестницу, впрочем, за ним еще и вторая — обычная дверь, и думаю: зачем через шар, когда можно обойти его, тем более что с другой стороны, может, и нету выхода? С трудом протискиваюсь между сверкающим шаром и стеной, и вот уже привычная, выкрашенная сортирной краской дверь с замком и цепочкой. И только сейчас, уже у самой двери, словно бы вспоминаю, что сказал он так потому, что решил уже не дожидаться... ведь если б он и дальше молчал, то я оказался бы бестактным и грубым... и он пошел мне навстречу, уже не дожидаясь этого. Секунду я колеблюсь: открывать или нет? — если я теперь не открою, то сам признаю свою бестактность... но не это волнует меня! и... открываю — чтоб создать хотя бы видимость, что Сокуров все же не совсем одинок...

Да, это кто-то другой... какая-то уставшая женщина стоит на пороге. А вокруг нее прыгают, крутятся обезьяны, кошки, собаки, а сверху по лестнице, раскачивая крупом, осторожно спускается еще и пони, кенгуру и еще штук десять собак и кошек.

— Мне нужен режиссер, — говорит женщина низким, равнодушным к своей усталости голосом. Кажется, что силу и уверенность ей дают животные и остановилась она на пороге лишь для того, чтобы подождать их, и ей даже не надо оглянуться, чтобы проверить, все ли на месте, точно так же, как не надо уже ждать и моего ответа, ибо все они спустились и уже идут мимо меня по коридору следом за ней.

— Он там, — говорю я, — у себя, — и тоже

иду следом за женщиной, вернее, за ее зверями (сама она уже давно скрылась в комнате), все еще иду по коридору и вдруг в открытую дверь ванны и туалета — это целый зал, освещенный дневным, сквозь стеклянную крышу, светом — вижу, как в мелкой прозрачной воде под унитазом, на белом кафельном полу копошатся еще и удавы, крокодилы, бобры. Из-под ванны вылезла мокрая кошка и, пригнув голову, с опаской уставилась на меня.

Хм... оказывается, часть ее животных всегда была здесь... значит, я мог и не открывать... вернее, я и не открывал ей дверь, если она могла, так же как и они, независимо ни от чего, в любой момент здесь оказаться... Но все равно чувствую, что я виноват. Ведь если б я согласился взять у Сокурова урок игры на скрипке, то он ничего бы не ждал и всего бы этого не случилось.

— Я из цирка, — говорит женщина Сокурову силным, свихшимся со своей усталостью голосом. — В цирке не хватает помещений. Мне нужна ваша квартира. Половина ее. Я вас прошу пустить меня, отдать мне половину вашей квартиры.

«Господи! — думаю я. — Только бы он не сказал: «Ну хорошо, хорошо, оставайтесь». Только бы он не сказал так...»

— Почему? — говорит Сокуров. — Я не имею никакого отношения к цирку. Никакого отношения я к цирку не имею. И с какой стати я должен пускать посторонних?

Сдвинув брови, наклонив и повернув голову в сторону, он старается не чувствовать, что говорит с кем-то.

— В цирке не хватает помещений, — вновь говорит женщина, — а у вас огромная квартира. Вы в ней один. Мне некуда деть ~~животных~~ животных. Я не могу долго ждать и искать помещения.

Она не реагирует больше на трудности: кажется, и не заметила, что Сокуров ей отказал, она даже не может почувствовать в себе женщину; одета в мужскую брезентовую куртку, спортивное трико и старые кеды, возвышаясь над Сокуровым на полголовы, грузно облокотилась о что-то — все силы отданы борьбе со зверьми, чтоб приручить их, они ее часть, и одна лишь уверенность в этом дает ей уверенность во всем — ей не надо ни на что больше затрачивать сил. Единственно: куртка аккуратно застегнута на все пуговицы, до самой шеи, и платочек цветастый из-под ворота.

— Ну почему я должен пускать вас? Скажите! Мало ли у кого что есть? И какое я имею отношение к цирку и вашим зверям?

Сдвинув брови и наклонив голову, Сокуров говорит, стараясь не видеть женщину. И в этом протесте уже обреченность... И не потому, что нет сил сопротивляться, а потому, что

нельзя отогнать мысль, что он причина столь грубой бестактности, он неизбежно чувствует себя виновным, если б его не было вовсе, она б и не возникла сейчас, но исчезнуть нельзя, можно только не видеть и пытаться не чувствовать, но этого слишком мало для полной смерти.

— Формально никакого, — говорит женщина, — но поэтому я и не настаиваю, я прошу.

— Да нет, вы настаиваете!

— Ну хорошо, настаиваю: если у вас огромная квартира, а в цирке не хватает помещений и мне некуда деть животных...

Зачем он что-то объясняет? Пусть выгонит ее, и все! Ведь еще несколько секунд, и он не выдержит и пустит, чтоб не чувствовать ее хотя бы сейчас, хотя бы в данный момент... Я даже вижу... вижу: он складывает ру-

ки в локтях и, как бы одновременно соглашаясь и отмахиваясь от женщины, с досадой говорит: «Ну хорошо! Хорошо! Оставайтесь!» — вот именно этого не дай Бог ему сделать. Именно этого я не хочу, именно этого не должно случиться!

Но вдруг, ужас, что виноват только я. Виноват, что так явственно представил себе это...

— Но я не вижу смысла, — говорит Сокуров (он мог бы и прогнать ее, но я-то уже все видел и обреченно жду), — как вы можете тогда наста...

И вот абсолютно точно, как зеркало, отражая каждое слово и жест, он повторяет:

— Ну хорошо, хорошо, оставайтесь! — И руками несколько раз точно так же нетерпеливо отмахнулся от женщины, выражая этим жестом досаду и согласие одновременно.

КОСТЫЛИ

— Но эти костыли надо отдать, я их у соседа взял, — сказал отец.

— Как? А где же наши?! — сказал я.

— Я их отдал.

— Кому?

— Я их отдал уже давно.

— Ну так надо забрать, ты ведь их не подарил?

— Нет.

— Ну так надо забрать...

— Да, но ведь тебе и так скоро снимут гипс...

— Во-первых, не скоро, а во-вторых, почему ты не хочешь забрать костыли? Кому ты их отдал?

— Соне.

— Соне Таубэр?

— Да, ее муж сломал ногу.

— Я не понимаю, как ты мог вообще взять костыли у соседа, вместо того чтобы забрать наши у Таубэр! Я вот этого не понимаю!

— Но ведь соседу в данный момент костыли не нужны, а у Сони муж сломал ногу...

— Но раз я тоже сломал, а костыли наши, пускай они достают где-нибудь, а не мы, если у них костылей нет, а у нас есть, то тогда они должны доставать, а не мы...

— Ну какая разница, если я взял у соседа и все сейчас с костылями!

— Но ведь мы с этим соседом почти незнакомы, он только переехал, неудобно одалживаться, но не в этом дело, взял так взял, меня волнует другое, я бы и разговор этот не затевал, если б меня не волновало другое... ты хоть вообще собираешься забирать наши костыли обратно? Сейчас или позже... Но в принципе?

— ...

— Нет, я уже вижу, ты их решил оставить, да? Я не понимаю, что плохого, если ты забережь костыли? Ну что? Скажи, ну что плохого? Не обязательно сейчас, а когда-нибудь... А потом? Вдруг нам в будущем понадобится, мало ли кто-нибудь еще сломает ногу, а костылей нет и достать их нигде, они не продаются... понимаешь?

Отец молчит. Он в ванной комнате молча вытирает руки. Я иду на кухню к бабушке, к бабе Лене. Она умерла уже давно, но сейчас она на кухне. Еще при жизни она была с отцом в плохих отношениях, они не разговаривали, поэтому сейчас, как и при жизни, она не вмешивается в спор. Она скромно что-то делает на кухне. И сейчас, как и при жизни, она словно изолировала себя каким-то светлым, добрым самонастроением от всех неурядиц, как домашних, так и служебных.

— Баба Лена, — говорю я энергичным голосом, — скажи, прав я или нет?! Что, костыли нужно забрать?

— Мне кажется, — говорит баба Лена очень добрым отстраненным голосом, не глядя на меня, и я воспринимаю только ее затылок — крашенные в темно-каштановый цвет волосы, добрый, обессиленный наклон шеи, — мне кажется, что забирать костыли сейчас все же не следует, — говорит очень спокойно, вежливо, даже робко, стараясь никого не обидеть, — а потом, когда больной выздоровеет и костыли ему уже не понадобятся, их, наверное, можно забрать, и здесь ты, по-моему, прав...

— Ну вот! — иду я уже по коридору обратно к ванне. — Слышал? Баба Лена тоже считает, что костыли нужно забрать! Не сейчас, сейчас не обязательно, а потом, когда муж

Сони Таубэр выдворивает! Это же идиоту ясно, что в этом нет ничего плохого! Если ты их не подарил, конечно...

— Нет, не подарил...

— Ну так вот, я не понимаю, что еще тут нужно доказывать!

Однако я все явственней чувствую, что не костыли мне важны, мне важно переубедить отца, но почему мне это так важно?.. Что-то раздражает меня в нем, и я хочу изменить его... В том, что он не хочет забирать костыли, есть что-то странное... ужасно угнетающее меня почему-то. Если б он их подарил, то разговору бы не было, а то ведь ясно, что и не думал оставлять насовсем, а забирать почему-то не хочет... почему?

— Тогда не давал бы, если ты знаешь за собой такую странность. А если дал, то ты должен забрать или подарить должен был...

— Ну вот, я теперь им и подарю, — с облегчением говорит отец.

— Ну ты ведь не хотел им ничего дарить. Ты хотел дать на время, а потом забрать, ну так и заberi, чего проще. Тут надо просто умом четко рассчитать: обидятся они, что ты заберешь костыли, или нет? Нет, не обидятся, наоборот, будут благодарны, что ты их выручил. Ну и все. Спокойненько взять и забрать. И все. Сперва понять, что это нормально, а потом поставить себе цель и действовать, добиваться ее, хотя тут и добиваться нечего...

— Да... — вдруг отвечает отец, опустив глаза и выходя из ванной комнаты, и видно, что он бред уверенностью в каком-то решении.
— Да, — говорит он, — но если ты не можешь

«умом четко рассчитать», не можешь «понять, что это нормально», не можешь «поставить себе цель», то тогда и «добиваться ее» и «действовать» невыносимо тяжело, возникает непреодолимое бессилие...

— О Господи! — кричу я. — Значит, ты решил навсегда оставить нас без костылей? Да?! Говори, да или нет?! Давай тогда вообще все раздадим, все... — Но кричу я так уже по инерции.

Уже не хочется мне этих костылей, не хочется переделывать отца, ибо он это сделает через силу, и вообще пропади все пропадом, начиная с костылей и кончая всем, всем на свете, лишь бы не лишать отца уверенности и не вынуждать его жить и действовать сообразно тому, как живут и действуют все, если это вызывает в нем чувство бессилия. Конечно, чтобы он чувствовал в себе силы! — ради этого можно всем пожертвовать, абсолютно всем, тем более какие-то костыли... Конечно же, эти костыли должны навечно остаться у Таубэр. Да мне они никогда и не были так уж нужны, зачем я настаивал?.. И вдруг замечаю в углу коридора какие-то костыли... Беру их в руки — они сделаны из камыша и опереться на них, конечно же, невозможно, а вроде бы даже это один камышовый костыль, только один, вернее, половинка его. Но все равно мне приятно, что у нас тоже есть хотя бы камышовая половинка костыля... А в следующий миг я вижу мужа Сони Таубэр; его переломы превратились в страшные, переломаны ноги, позвоночник, уже никогда не срастутся — теперь он навечно прикован к нашим костылям...

Приглашаем посетить
постояннодействующую выставку



в фирменном
салоне-магазине
"Книги"

по адресу: Москва, проезд м.Дмитровская,
Лиственничная аллея, 2а, трам.27 ост. "Песчаная ул"

факс: 482-12-09
тел.: 482-40-55

Все разнообразие печатной
продукции для Вас!

**Редакция приносит извинения
читателям:**

**за публикацию глав из книги о
Лайзе Минелли в связи с ее низким
литературным качеством;**

**за допущенные ошибки и опечатки
и задержку выхода
в свет этого номера журнала;**

**художнику Юлии Зубревой,
иллюстрировавшей в № 6, 1993 г.
поэтическую прозу Т.Зульфикарова
и «Письмо главному редактору»
А.Червинкого,
т.к. ее авторство не указано.**